
Алексей Колесников

Мир непобедим

Рассказы

Ирокез

Но миром правят собаки
Тела населяют собаки
В мозгах завывают собаки
И выживают здесь только собаки

Е.Летов. «Собаки»

Кочуев не был виноват, он только следовал своей «полундре»...

М.Елизаров. «Госпиталь»

После выпускного я подрядился на стройку школы обычным подсобником. Естественно, даже эта должность досталась мне по блату — знакомый договорился с прорабом.

Одноклассница Верочка опубликовала недавно фотографию из того 2014-го лета. Раскинув семнадцатилетние ноги, она сохнет на шезлонге, а Ялтинское море, в уголке фотки, отражает кипящее солнышко. Красота, конечно! Подпись: «Школа окончена. До универа целое лето. Я хорошенькая и молодая. Бесценные воспоминания».

Я тем летом фотографировался по-другому. Вот я на фоне штабелей со шлакоблоком. А вот несу два ведра с раствором, приседая от напряжения. Собака Майдан, за моей спиной, метит бетономешалку. Несчастный рабочий спит на стекловате, загнанный водкой. Наверное, он чешется до сих пор.

Фотографировал Юра.

Эта работа была самой лучшей в моей жизни. Тяжело, но весело. Работать следовало непременно. Мои бедные родители, никогда не видевшие море воочию и ресторан изнутри, собирали копейки, чтобы оплатить чертово обучение. Можно было, конечно, сгонять в армию, но я решил так: пусть служат те, кто должен родине! Те, кто хоть что-то получили просто так. Пошел ты, товарищ майор! Упражняйся на правильных гражданах, выбравших правильное будущее. Делай их тупее себя. А я, знаешь ли, прочел тысячу книг и когда-то напишу свою. Мне нечего делать в казарме. Моя война в душе моей, и это по-настоящему опасно. Я ничего не должен государству. Я существую автономно, как и весь русский народ.

Колесников Алексей Юрьевич родился в 1993 году в Белгороде. Образование высшее юридическое. Печатался в журналах «Новая Юность», «Новый Берег». Живет в Белгороде. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Отец мой заработал инвалидность на заводе. Мать невроты в школе у доски. Деда вышвырнули с сельскохозяйственного предприятия в девяностые. Я не знаю, что такое финансирование, стипендия, компенсация, льготы, пособия, бюджетное обучение, бюджетное жилье, страховка, карьерный рост, престижная работа, материальные поощрения, очередь на получение комнаты, скидки, призы, гранты, гарантии прав. Товарищ майор! Я всем обделен. Всем! Как мертвый. Я всегда всем за все плачу сколько скажут. Отстань от меня!

Товарищ майор, я помню, как девочка из приемной комиссии, таскавшая свитер в разгар лета, предупредила, что общагу получают только бюджетники. Я снял квартиру через риэлтора и отдал половину маминой зарплаты. Просто все так у них... Непокорлемо.

В общем, товарищ майор, я не хочу защищать такие порядки на войне. Я не готов умереть за право получить ипотеку. Не обижайся.

Ну ладно. Это я теперь такой злой. Тогда я был полон надежд и верил в рекламу. Однако желание поднагудить обществу уже тогда требовало от меня решительных действий.

Все нормальные закомплексованные подростки, обделенные лаской одноклассниц, начинают эксперименты с внешностью. Я отпустил ирокез. Причем, не колючий гребень, как у панков, а покладистый милый ирокезик. Мне казалось: я выгляжу дерзко.

Как и всем строителям во все времена, нам пообещали хорошие деньги. Мы знали, что уж половину заплатят точно.

Мама меня жалела, поэтому пыталась отговорить:

— Отдохни. Успеешь еще поработать. И что это за порядки такие: школьники строят школу, а?

Однако я был решителен. Можно заработать — зарабатывать.

Добравшись до стройки, я переодевался на втором этаже в рабочую форму: шорты, майка, специальные носки и кеды со звездами. Далее я надевал выстиранные перчатки и совал в карман бутылочку сладкой воды.

— Ты принц, конечно, — сказал мне плиточник Костик день на третий.

Захотелось оправдаться:

— В растворе домой ехать запахло просто.

— Не стыдись. Ты ж пролетарий. Раствор — не понос. Грязи только пидоры боятся.

— Да ладно, почти все переодеваются.

Мой аргумент был справедлив, но Костик все равно остался недоволен. Теперь мне ясно, почему. Слишком стерильно я выглядел. Молодой, в меру смазливый, чистенький, гибкий. Каждое утро у зеркала минут пятнадцать я тратил на несвоевременное бритье, а после тщательно чистил зубы и обязательно проверял длину ногтей. Я не выходил из дома, не посетив душ, а трусы менял строго каждые два дня, даже если не покидал комнату. Никто и никогда не видел меня в мятой рубашке или джинсах с вытянутыми коленями. Еще и ирокез...

Моя родина — глухой поселок. Ирокез там — это тест на толерантность, который все проваливают. Те же дела с пирсингом и татуировками. (В те времена, по крайней мере.)

На фоне чубчиков ирокез не скрыть. Я оскорблял чувства односельчан, как бы говоря им: «Смотрите, для меня важно быть непохожим». Какие у меня имелись основания выделяться? Да никаких! Тогда еще я не искал оснований для своих поступков, действуя по велению сердца.

Выламываясь на фоне остальных строителей юношеской свежестью, антипролетарской опрятностью и дерзким причесом, я был безответственен даже перед самим собой.

В школе ко мне привыкли и уже не замечали, а на стройке вспыхнула сотня новых глаз, воспаленных от похмелья и пыли. С первых дней я понял: будет куча претензий.

— В Курске бы тебя наказали за такой хаер, — через неделю предупредил Костик, когда мы вкалывали на первом этаже.

— Так мы не в Курске, Костик. — Я беспечно улыбался, таская кирпичи.

— Это да, — он плюнул себе между ног, сидя на корточках. — Дам я тебе совет, с барского плеча, так сказать: сбрей эту помойку и носи нормальную прическу, ясно?

— Какую?

Костик усмехнулся.

Сглаживать конфликт не хотелось. Драка сулила поражение. Он был не только старше, но и крепче, опытнее. Его перетянутые белыми венами руки сохраняли еще доцивилизационную мощь. В сравнении с Костином я казался обезьянкой, которую можно выжать в кипящий суп для навару.

Костик провел ладонью по черепу, оставив на волосах пыльный след:

— Вот такая прическа аккуратная. Под «троечку», — он тиснул макушку: — Чух, и готово! Прилично и не жарко. Сразу видно, что нормальный пацан. Не чепуха картонная.

— Мне и как сейчас нравится.

— А мне нет!

— Это твоё дело. — Я улыбнулся, дестабилизируя конфликт. Получилось.

Такие воспитательные беседы со мной проводились часто. Каждый «воспитатель» не хотел казаться дикарем — я по глазам это видел. Они объясняли, как им казалось, очевидное. Искренне за меня, балбеса, переживали, не понимая, что природа нашего антагонизма абсурдна. Зачем вы тратите на меня силы, товарищи? А мне, со своей стороны, зачем выпендриваться ради вас? Поймите, пока мы увлечены противостоянием, разрушается неизведанная Венеция и пища сатанеет от пальмового масла. Давайте усложняться. Давайте счастье схватим за пальцы, а?

Директор, когда принимал меня на стройку, спросил на армянском русском:

— Ти точно сможешь?

— Скажут нести — понесу. Скажут подавать — подам. Подсобник — не инженер.

— Ко всиму нужен башка.

Неспешно выговорив ещё что-то, он тоскливо глянул на ирокез. Как все всегда, в общем.

Я решил: нужно продержаться до конца лета, заработать денег и исчезнуть. Вести себя следует скромно. Дерзить не надо, но и подстраиваться под каждого дикаря тоже не стоит. Мой ирокез — это воспитательная акция. Гуманитарная помощь отставшим индивидам.

Вскоре ко мне привыкли. В открытую не смеялись и не приставали. Ну ирокез, ну умывается тщательно, ну в контейнерах носит обед, а не в кульке, и что, собственно? С работой справляется, и ладно. Чем бы дите не баловалось, лишь бы не экстремизмом, в общем.

Обедая на крыше от грузовика, я подозвал пса Бормана. Сонно покачиваясь, он уселся рядом. За ним притрусила рыжая сука Бутылка.

— Обедали сегодня?

Борман оскалился, как пьяный.

— Ну, хватайте.

Я угостил собачью пару гречкой с подливой.

— Фашиста кормишь?

Я обернулся, — спрашивал Костик.

— Так он же с Бутылкой.

— Да, фашист с бутылкой — это не фашист с гранатой.

На удивление Костик был весел и мил. Присел рядом и принялся вычищать кисляки из Бутылкиных глаз. Собака вертела головой, но не убегала. Я ждал очередных нравоучений насчет внешности, но Костик лишь рассказал несмешную армейскую байку про недисциплинированного салагу, который возомнил о себе бог весть что. Потом собака ему откусила нос, и салага изменился. Стал проявлять небывалую чуткость к приказам командиров и проблемам товарищей.

Вообще отношение Костика ко мне менялось в зависимости от настроения. От интенсивности солнца, может быть. Кажется, он хотел и не мог увидеть во мне человека. Сам себе задавал мучительные вопросы. Пытался понять. Он надеялся нарастить душу, набирая в нее воздуха, но душа так не растет. Она может увеличиться в объеме, но потом все равно сдуется до горошины.

Стропальщик Лёха рассказывал, что Костик научился класть плитку в армии. Солдат там эксплуатировали, продавая их труд заинтересованным гражданам по цене ниже рыночной. Костик, чтобы не таскать кирпичи и не замешивать раствор, в короткие сроки обучился класть плитку, подвизавшись ремонтировать вечерами пол в туалете казармы.

— Талант, — завистливо рассказывал Лёха, затягиваясь сигареткой. — Плитку надо уметь... Криво тут не получится. Сноровка нужна. Я пробовал — неспособен. Руки трясутся, как голодные кишки.

— Костик, а что в твоём деле главное? — заискивающе интересовался я, пытаюсь установить контакт, без особого при этом желания.

Обычно он отвечал что-то вроде:

— Выглядеть как нормальный мужик.

Я замолкал.

При этом мне памятна лаконичная лекция об основах плиточного мастерства:

— Главное не спешить. Лучше лишний раз примериться, а потом слой убрать и посмотреть: как? Уровень — вот твой главный инструмент. Он все косячки заметит. Все по уровню делать нужно: плитку к плитке, чтобы ни одна не горбатилась, не торчала. Одну загонишь, и все — провал! Стена пузом пойдёт, а потом обвалится.

День на десятый у меня появился приятель. Нам вместе пришлось возводить сортир для строителей. Старый, сделанный на скорую руку, признали опасным для эксплуатации. Оказалось, что строительство туалета — это нечто позорное. По крайней мере, Костик на этом настаивал.

— Он тебе, Романыч, настроит. Слышь, опасное это дело, ему парашу доверять... — поддакивала Костику какая-то «пятая колонна» (уже не помню кто).

Опытный прораб Романыч отмахнулся, повторив приказ:

— Иди. Юра строит, а ты на подхвате.

На условности мне плевать. Главное, до сентября продержаться. Параша, так параша.

Солнце, особенно безжалостное в тот день, обжигало веки. Я шурился так старательно, что стянуло лицо. Хотелось на обед. Жилистый Юра, с ногами длиннее туловища, осмотрел меня безрадостно. Не зная, как закентоваться, я решил пошутить:

— Ну что, на парашу нас отправили, да?

Он ответил вопросом:

— Ты гелем его намазываешь?

— Нет. Водой обычной.

— Каждое утро?

— Приходится.

— И что, держится?!

— Не падает.

И тут я обрадовался едва уловимому стеснению на Юрином лице. Стесняющийся человек — сокровище. Чудо, а не человек!

— Так это... а ты не этот... не тот... не гэй?

Почему-то Юра произнес через «э».

— Нет, — ответил я. — А ты?

Он рассмеялся:

— У меня жена и две дочери.

Общая работа сблизилась. Я догадался, что Юру «свои» тоже не очень котируют. Не знаю, за что. Видимо, за его неспособность присоединиться к коллективу на основе принципа общей ненависти. Да он и вообще, кажется, не умел ненавидеть. Добряк. Среди собак он был бы сенбернаром.

Нужно сказать о Юриных «своих». Это были гастарбайтеры из Украины. В 2014 году, как известно, между русскими и украинцами только начался чемпионат ненависти. Украинцы жили прямо на стройке, и инициатива построить капитальный туалет исходила от них. Вскоре на нашем объекте воссоздалась точная модель человеческих отношений, существовавшая между селами Колотиловка и Покровка в первые дни войны. Граница, проходившая между будущей школьной столовой, где жили украинцы, и будущим спортзалом, где обедали и собирались мы, нарушалась редко. Однако нарушалась. Стороны при этом держались крайне любезно и даже обменивались сигаретами. Изредка ругали начальство, дескать, зажрались, суки, опять задержали аванс. После все вновь кучковались отдельно, пересказывая детали быта вражеской стороны. Украинцы считали, рассказывал Юра, что им мало платят из-за нас. Наш каменщик Глушко, наоборот, разъяснял, что платят нам скромно из-за «хохлов», согласных вкалывать за копейки, что существенным образом отражается на показателях рынка труда.

— Приехали... Страну развалили, теперь к нам сунулись порядки наводить. Мужики, да они и строить-то не умеют.

Один старый электрик — Липатов, кажется, — возразил:

— Так это не они приехали! Это их наш директор приобрел. Если не они, то таджики. Или алкашей по району соберут. Эти хоть строители настоящие.

— Кто их знает, какие они строители!

— Нормальные. Вон их работа, — он показал на «коробку» столовой на заднем дворе.

Разгорелся ненасытный спор, состоящий из цитат, позаимствованных в вечерних политических шоу, сомнительных фактов и нелогичных обобщений.

Я ушел мыть посуду.

«Власовцы», «бандеровцы», «хохлы», «майданутые», а они нам: «колорады», «оккупанты», «агрессоры», «москалы» — слова, как колода карт. На каждого валета есть дама. Один спорщик на козырей надеется, а другой — на крапленую десятку. Но вот, игра окончена. Первый в плюсе, а второй слегка проиграл. Карты в топку. Новые игроки. Новая колода. А хозяин казино не интересуется результатами партий. Он точно знает: казино — прибыльный бизнес. Самая дорогая в округе мулатка ему что-то шепчет в ухо на интернациональном языке. Он убавляет вопли политического шоу и закрывает глаза, чтоб ничего не испортилось.

Юра часто объяснял, что в Харькове всегда положительно относились к русским. Он так, я думаю, извинялся за националистический бардак. Я не требовал этих извинений, но и сам ощущал, что обязан оправдаться, причем не лично, а от лица нации. Идиотское чувство.

— Слушай, мы очень много говорим о политике. Теперь все разговоры с русскими сводятся к этому.

Мы возводили перегородку в будущей столовой. Юра намазывал долгий и широкий слой серого раствора, а потом зачем-то половину собирал мастерком в ведро. Прикрыв глаз, будто целясь, он вновь выбирал раствор из ведра, что-то измерял локтем, убирал лишнее и только после этого клал первый кирпич нового ряда. В общем, какие-то профессиональные хитрости.

— Ты прав. Только до знакомства с тобой я про политику ни с кем не говорил, совершенно. И не думал!

Я бегал с ведрами от бетономешалки к Юре и обратно.

— О! Как сметана растворчик! Молодец, пацан! — похвалил он, а потом глянул на меня, худого, красного, потного, и сказал наставительно: — Тебе про девок нужно думать, а не про политику!

— Кстати, о девках! — Мне хотелось рассказать эту историю, и я обрадовался возможности. — Обедаем мы сегодня. Сидим в спортзале, как всегда, почти полным национальным составом. Ну, треп идет бессмысленный. Глушко под это дело пачку клея через забор перекинул, а мы все дискутируем...

— Про политику? — Юра вынул сигаретку, прикурил и высморкался под ноги.

— Сначала про политику, а потом, после обеда, про баб. У кого какие приключения. Лёха солировал, как всегда, долго и скучно, а потом закурил и говорит: «Есть у нас на стройке одна... Хорошая женщина. Штукатурша. Надя! Знаете?» Мы никто Надю не знаем, а вот Лёха, судя по всему, давно за ней ухлестывает. В общем, он описал ее с такой любовью, как наш русско-украинский советский писатель Булгаков свою Маргариту. И такая она, и сякая. Веселая, добрая, а главное, животик круглый...

— Хм... Я ее что-то не знаю... — задумался Юра.

— Маргариту?

— Надю эту!

— А-а. А я теперь знаю! — продолжал рассказывать я. — После обеда меня послали куда? Натаскать штукатурам песка в актовый зал! Прихожу и, между делом, спрашиваю: «А кто Надя?» И тут поворачивается ко мне копия Лёхи, только в косынке и без переднего зуба! Лет сорок пять, видно, что плотно на стакане сидит, но зато бойкая, шустрая и лифчик не носит — соски через майку на волю стремятся.

Юра рассмеялся, вспомнив Лёху: дряблого, рябого, кривоногого мужика с гусиной грудью и шрамированной головой.

— И что она?

— Я, говорит, Надя, а шо? Женихи разыскивают? Тут я не выдержал — заржал. «Может, и разыскивают, говорю, вернее, наверняка. Вообще-то мне поручили у вас справляться о необходимых объемах песка». Она заскучала сразу. Сказала, что ей пофигу — сколько принесу, столько и намешают. Договорились на корыто.

После мы с Юрой вместе обедали. Он угостил меня невероятным салом. Густо перетянутое мясными веревочками, оно вздрагивало на черном хлебе, как девушка на морозе, а оказавшись во рту, мгновенно таяло, что шоколад в духовке. Понимаю, что это стереотип — про украинцев и сало, — но оно действительно там вкусное. Помню, как до войны мы ездили с родителями в Харьков и возили контрабандой целые кусищи этого желто-белого золота. Ну и, конечно, дешевые джинсы. Разница курсов позволяла почувствовать себя на Украине олигархом. Они, кстати, нас еще и за это не любят.

В тот день, после обеда, мы увидели вертолеты. До сих пор жители Белгородской области вспоминают о них как о самом ярком впечатлении всего лета.

В крупных городах вертолеты — обыденность. Там военный вертолет способен затеряться. Он невидим среди железных стрелок, тянущих через город товары, полицию или буржуазную задницу, спешащую на футбол или к любовнице.

Военный вертолет в поселке — это война, о которой рассказывали по телевизору. Это засов изнутри на двери погреба.

Вертолеты напоминали раззадоренных ос, покинувших улей. Они плыли над

стройкой величественно. Мы боялись, что они рухнут на наши головы. Мы замерли, все как один, думая о родных. Мы видели лица пилотов — так низко летели махины. Мы снимали вертолеты на камеры, не зная, можно ли будет показывать видео. Мы, и русские, и украинцы, знали, куда летят вертолеты. Знали, зачем человек придумал военный вертолет.

Как хорошо, что я дезертир!

Я утаил кое-что от Юры. Там, среди штукатуров, я встретил Нину. Когда я вошел, она кокетливо засупонила цветастую рубашку. Заметив ее румяный живот, я смутился. Она улыбнулась.

Немногим меня старше, она все же казалась абсолютно своей среди горластых теток. Даже покрикивала на них. Ее движения были торопливыми и точными. Тетки же, наоборот, после обеда трудились лениво, берегли плечи и спины, сонно поглаживая стены шпателем.

И еще: пока я вертелся у Нининых ног (штукатуры работали со стремянок), до моих ушей доносились безобидные шутки насчет ирокеза. Вот зачем он был нужен, оказывается.

— Ты на «Дракошу» похож. Бутылка, — обратилась она к кудрявой собаке, — правда, он похож на тот мультик? Ты не смотрела, наверное.

Все, сказанное Ниной, казалось остроумным и трогательным. Она говорила, как актриса в моноспектакле. Головка в белой косынке — Нина, Ниночка. Угольная прядь мешает глазам. Белая пенка скопилась у устья рта. Потные полумесяцы под свежей грудью. Бамбуковый позвоночник под рубашкой от макушки до попы.

Все дело в контрасте. На фоне теплой и мягкой от раствора стены, среди этих буторчатых баб, она казалась ожившей статуей. Я до сих пор помню и затертые шорты, и перепачканную рубаху, и старенькие кеды в капельках краски.

— Подожди, Дракоша. — Нина скинула косынку, поправила волосы и добавила: — Поможешь мне клей принести.

Мы пошли вместе. От волнения я изменил походку, поэтому волновался еще сильнее. Оказалось, что мы примерно одного роста. Собака Бутылка сопровождала нас.

— Ты так смотришь на меня...

— Как?

— Слушай, я не маленькая. Я понравилась тебе, да?

— Почему?

— Что «почему»? Говорю же: по взгляду видно. Ты заруби себе на носу или на чемнибудь еще: у меня двое детей и любовник-дагестанец.

Мы как раз поднялись на второй этаж и шли вдоль окон без стеклопакетов. Школа смотрела пустыми глазницами. Следила за нами, завидуя нашей полноценности.

У одного из окон курил Костик. Он задумчиво прослеживал миграцию перистых облаков на север поселка. «Как разваренные пельмени», — подумал я.

Очень хотелось, чтобы Костик нас не заметил, но ощутив, наверное, мой напряженный взгляд, он обернулся и беззлобно оскалился. Я кивнул в знак приветствия. Он ответил.

— Друган твой? — спросила Нина.

— Ну, типа.

Она кончиками пальцев тронула мой ирокеза. Я отмахнулся, как от пламени.

— Забавно, — протянула Нина. — Слушай, а тебя не быют за него?

— А должны?

Она повела плечом:

— В поселке никто так не ходит.

— Они трусы.

— А ты смелый, значит?

— Пошли уже.

Я схватил сразу две пачки клея, а Нина одну. Глянуть издалека: молодые родители гуляют с тройней.

Нина жила неподалеку, на улице Коммунистической. После окончания ПТУ она уехала в город. Там что-то не сложилось, поэтому пришлось вернуться. Одно время мыла пол в кафе «Чёрное небо». «Там начальник урод». Бросила. Сидела без работы, а потом мать позвала подсобницей.

— В сезон штукатур может хорошо зарабатывать. А еще это полезно для фигуры. Вот. — Она встала на носочки, подняла руки вверх, вытянулась. Ни костей, ни жировых складок — березка в рубашке.

— Прикинь, — продолжала Нина, — пошла бы я поваром-кондитером — по профессии своей — и что!? Через год бы жопа в окно не влезла. Кстати, давай вместе пообедаем сегодня? Я набрала целый пакет хавчика. Приходи помогать, а то собакам отдавать жалко. Придешь?

— А у тебя действительно ребенок и дагестанец?

— Дурак! Какой дагестанец жене штукатурить разрешит!?

Действительно.

— А ребенок? — не унимался я.

— К сожалению, я бездетная, — она развела в сторону руки как для объятий.

Целую секунду я всматривался в ее черные глаза с неразличимыми зрачками. Нина искренне сожалела? Шутила? Или делилась радостью? До сих пор не знаю.

Обед пришлось организовывать наспех. Предварительно я занял будущую душевую комнату, разложив в ней свои вещи: сменную одежду и собранный мамой паек. Две доски я уложил на три шлакоблочные — получилась скамейка. Столик: крышка, накрытая гладким шифером, не слишком очищенным от налипшего раствора. Лишний мусор я выволок ведром на улицу, а дыру в стене завесил мешковиной, чтобы не сквозило. Эта комнатка, еще не оштукатуренная, с торчащими из бетонного пола подводками для воды, приглянулась мне сразу. В ней не воняло мочой, и располагалась она в самом дальнем уголке нашей стройки.

— Романтишно, — похвалила Нина.

— Приятно такое слышать, мадам, — ответил я, принимая натрамбованный едой пакет и термос.

Это было первое в моей жизни свидание. Нина сказала, что я чистоплюй.

— Как ты отдыхаешь от работы? — спросил я, уплетая холодную курицу под сыром и майонезом.

— Я очень люблю читать.

Мне никто не говорил этого прежде! Казалось, что книгами на всем свете увлечен лишь я. С возрастом выяснилось, что в городах, где всего больше, существуют реальные читающие существа. В поселках, а тем более в деревнях, давно таких не водится — вымерли, а новые не народились. Исключения не в счет. (Обычно, это забитые мальчики в дешевых свитерах. Их библиотекарь узнает по скрипу обуви.) Учителя за сорок пять способны вживить в незащитные детские мозги Пушкина и Лермонтова, но далее, класса с восьмого, и они бессильны. Толстого, Достоевского, Шолохова и даже крошечного Чехова никто в моем поселке не читал в десятые годы, а сейчас всё еще хуже. На территории, сопоставимой с платоновским полюсом, не появилось ни одного книжного магазина за все те годы, пока я существую, если я существую вообще.

— А что ты любишь читать?! Современную литературу или классику? Нашу или зарубежную? А может стихи? Или, может... комиксы?

— Да ну нет, — сказала она, глотнув молока. — Я читаю мифы. Мне очень нравится про древних богов. Это я в последнее время увлеклась. Раньше пофигу было.

— И чем тебе мифы нравятся?

— Мужики там настоящие! Мужественные, сильные, смелые...

— И говорят скупое, — перебил ее я.

— Да. Не треплются, как бабы.

— У тебя молоко под носом. — Я поднял руку, но не дотронулся до Нины. — Мне очень нравится миф о Прометее. Читала?

Нина кивнула головой неопределенно. Я высказался:

— Первый ссыльнокаторжный. Я часто размышляю о том, как ему там было одиноко на этой горе. Наверное, когда вновь и вновь прилетал ненасытный орел, Прометей радовался ветерку от его крыльев. Кстати, и он дождался освобождения. Позитивный, в общем-то, финал...

Мы помолчали. Где-то близко заработал мотор крана дяди Пети.

— Все. Закончился обед, — сказала Нина и ушла, оставив мне пирожок с яйцом и луком.

Мы встречались случайно, но эти случайности я хитро планировал. Иногда у мокрого шланга — мы там омывали ноги. Иногда за столовой в тени уцелевшего тополя. Порой я поджидал Нину у кабинета директора, где нам рисовали «восьмерки». Однажды мы столкнулись у туалета. Я Нину по-джентельменски пропустил и отошел к забору, чтобы не слушать.

Служебный роман, в общем. Я не умел ухаживать за девушками и сейчас не умею. Делать что положено — стыдно. Делать то, чего по-настоящему хочется, — нельзя. Нужно все время откупаться, а откупаться нечем.

Однако уже к середине лета кое-что романтичнее сложилось. Большую часть строителей разогнали в связи с приездом какой-то инспекции. Украинцев вывезли в посадку, немногочисленных таджиков закрыли в котельной, а местных оставили. Понятно, что работать никто не хотел. Раздавались привычные строительные звуки, но они не составляли оркестр. Там бахнуло — тут гухнуло. Запела и умолкла бетономешалка, единожды кашлянул перфоратор.

В последнее время я помогал строгому каменщику, похожему на Максима Горького, но он куда-то исчез. В связи с задержкой зарплаты и с ее безосновательным сокращением возникла катастрофическая текучка. Помню день, когда на всю стройку остался только один человек, способный возвести стенку, и тот перегретый на солнце Аркадий Глушко. Даже украинцы, в качестве протеста, однажды бросили все и уехали. (Их потом лично Алексей Сергеевич, наш самый главный по финансам, уговаривал вернуться.)

Чудесным образом Романович не отправлял меня к Костику, будто чувствуя возникшую между нами неприязнь. Старый прораб, перевидавший всякое, моего ирокеза не чурался. Он поручил мне ответственную работу — откосы. Крановщик дядя Петя возносил нас с ведром к окнам третьего этажа, глушил кран и закуривал. А я, балансируя в дырявой люльке, суетливо гнал откос, черпая густой раствор надломленным мастерком. «Вот оборвется люлька, и позвоночник в шепки, — думал я. — Но ничего. Зато заработаю. И август уже скоро. Дембель!»

В тот день, незадолго до обеда, я услышал крик с земли:

— Пацан! Пацан! Быстрее! Пацан!

Я выглянул из люльки:

— Падаем?!

— Не! Слушай, посиди, пока я по делам сбегая, а?

Дядя Петя стоял у крана с вечной сигаретой под усами и хрипел от напряжения.

— Что случилось?

— Да телефон оставил, а на него щас бабища моя звонить будет. Жена ответит, и все! Ты ляпай тут, а я побежал, ладно?!

Не дождавшись моего одобрения, он заправил льняную рубашку в брюки со стрелками и понесся со двора.

Прежде я не знал, что у таких мужиков, как дядя Петя, бывают любовницы. Мне казалось, что любовь — это дело молодых, а молодость, считал я, заканчивается лет в двадцать пять. Смешно, конечно. Дядя Петя — усатый мужик под два метра ростом. У него есть кран, и он никогда не появлялся на работе пьяным. Естественно, у него есть любовница! Возможно, их несколько.

Настал обед. Стройка затихла. Солнце напоминало сигаретный ожог на васильковом платье. Хотелось многого: есть, пить и по-маленькому. Дядя Петя не появился. Двор опустел, как перед выносом покойника. Только рыжий кобель Серёга метил штаб Алексея Сергеевича, лениво задрал ногу.

С высоты наш муравейник казался трогательным. Не верилось, что школьники, такие же как я вчерашний, проживут здесь первые радости и несчастья, а стареющие учителя станут смотреть в окошко, позволяя глазам отдохнуть.

— Эй, Дракоша!

Я вскинулся и глянул вниз — Нина. Она держала ладошку у бровей, как богатыри на картине.

— Привет! — крикнул я. — Висю вот!

— А дядя Петя?

— Он по семейным обстоятельствам.

— К бабище своей убежал?!

Все, оказывается, были в курсе.

Нина подошла ближе — ее ноги скрылись под грудью.

— Как же ты без обеда?!

Я поднял на мастерке раствор:

— У меня тут и первое, и второе.

— Сейчас! — Она отбежала, а потом остановилась и добавила: — Никуда не уходи. —

Пошутила.

Я сел на перевернутое ведро и уставился в черное окно над люлькой. Квадрат Малевича! Можно вписывать в него все, что отсутствует. Вскоре в нем появилась Нина.

— Лови, — она швырнула мне пайку.

Котлета, яйцо, помидор и детский пакетик сока.

— А сама?

— И сама буду, — она продемонстрировала такой же кулек.

Забравшись на окно, как второклашка, она вынула яйцо, треснула им по коленке и очистила.

Я слегка растрогался: Нина не только обаятельная девушка, но еще и отличный товарищ.

— Спасибо тебе большое, Нина!

— Ешь, давай! Обед не вечный.

Потом, употребив пищу, Нина сонно попросила:

— Расскажи что-нибудь.

— Что?

— Сказку.

— А если уснешь и свалишься?

— Что ж ты за мужик, если я с тобой усну?!

Пользуясь тем, что не вся кровь еще устремилась от мозга к желудку, я начал: — Помнишь, был у нас на стройке мужик горбатый? Не то чтобы прям с горбом, но согнутый. В паленой адидасовской куртке ходил. Даже в жару, помнишь?

— Ну... Калаш, что-ли?

— Наверное. Ну вот, он пропал...

— Уволился же!

— Нет! Ничего подобного! Помнишь еще, пацан бегал рыжий-рыжий, весь в конопушках — тоже его не видно.

— Так тоже свалил он, — настаивала Нина.

— Ничего подобного!

— И куда они делись, по-твоему?

— Их скармливают оборотням, — хладнокровно ответил я. — Скажи мне, Нина-штукатур: сколько у нас собак на стройке?

— А я считала?

— Посчитай: Майдан, Борман, Серёжка, Мент, Бутылка и Раствор — шесть?

— Вроде...

— Так. Шесть собак, да?

— Да.

— Скажи теперь: ты их кормила когда-нибудь? Что ни кинь — от всего нос воротят. Знаешь, почему? Да потому что они исключительно человечесиной кормятся. Место их обитания помнишь? Возле штаба Алексея Сергеевича. — Я указал рукой. — Видела, как они там к вечеру стаей собираются и облизываются в ожидании?

— Что за чушь?

— Алексей Сергеевич их ставленник, понимаешь? — не замечая насмешек, продолжал я. — Собаки — реальные хозяева стройки. Мы тут возводим не школу, а новый Вавилон во имя оборотней, скрывающихся в собачьих шкурах. Днем они ошиваются рядышком, выбирая жертву, а потом сообщают о выборе Алексей Сергеевичу. Если оборотням приглянулся кто из строителей — все! Пиши пропало! Уволился горбатый будто, ага... конечно! Сцапали! В кабинет заволокли и скормили собакам! Хорошо хоть, до новой луны они терпят... А вот как серп разжиреет, как лучи луны темные очи прижгут, так и начинает их плоть паскудная крови человеческой алкать! Обращаются они тогда в уродливых человекоподобных существ, поросших красной щетиной. Скулят на луну — жалуются. Голод терзает чудовищ — голод лижет сердца. Если они вдруг останутся без жертвы, то к утру весь поселок передушат, как сонных в сарае курочек. Мы тут их благодетели. Их послушная добыча... — Я увлекался, не боясь смутить мою слушательницу литературщиной.

— Ты больной! — прошептала Нина. Кажется, ей нравилось.

Подул освежающий ветер. Во двор забрался незнакомый автомобиль. С тоской я подумал, что обед заканчивается. Сейчас исчезнет Нина, и сказке конец.

— А зачем им эта башня — Вавилон?

Я объяснил:

— Им нужен собственный храм. Каждому существу — своя крепость. Вон, глянь, Майдан побежал... видишь, как он двор метит?

— Как!?

— В форме пентаграммы. Звезду рисует, сука, — я схватил надкушенный помидор и швырнул в собаку. Майдан дернулся, понюхал приземлившийся овощной снаряд и глянул на меня саркастически.

Нина засмеялась — все было не зря.

— Пацан! — послышалось снизу.

Дядя Петя прикуривал новую сигарету от старой.

— Ну что там? — поинтересовался я.

— Все путем. Тебя спускать?

Нафантазировав себе несусветное, я решил, что у нас с Ниной роман. Однако мы и не виделись толком после свидания под небесами. Все как-то мельком, на ходу. Я приглашал Нину на обед и так просто посидеть на досках, но она не шла, ссылаясь на занятость:

— Требуют закончить классы до конца месяца. Загнали, гады.

Было еще одно. Как-то, разгружая газельку со стеклопакетами, я засвидетельст-

вовал долгий и, как мне показалось, неуверенный разговор Нины с неизвестным. Я видеть не мог — мешала пленка, которой я недавно сам завесил окно. Конечно, я решил, что там Костик, но быть в этом уверенным не могу до сих пор. На самом деле это совершенно не важно.

На День строителя, 11 августа, наш главный активист заявил директору:

— Гев Аликович, ты там передай мои слова: если зарплату не выдадут — забастуем до осени. А сегодня — сокращенный день! Работаем до двух и начинаем праздновать. Позвони и передай!

Никто забастовок не боялся, да и директор сам, кажется, против сокращенного дня не возражал. Стройка, набравшая скорость, мощь, вдруг захирела, как простуженная. Мы раньше положенного уходили с работ и долго тянулись в кабинет директора утром. Останавливались то поболтать, то выкурить очередную сигарету.

В тот день мы так и не начали с Юрой работать. Сидели и болтали в тени тополя.

— Приезжай в Харьков на рынок. Свожу тебя к корешу в палатку — у него джинсы — во!

— Так война же.

— Война посреди говна. Вызов сделаем! В Харькове тихо. Это в Киеве... там фашикам никак глотку не заткнут.

— Посмотрим, — вздохнул я. — А ты на сабантуй собираешься?

— Мы своим кругом, — с усмешкой ответил Юра.

— Национальным составом?

— Ага. Ты заходи к нам, если что. Ты ж горилку будешь пить?

Я пожал плечами. Было стыдно признаваться, что я еще не пробовал водку.

— А где Нина? — спросил я у тетки-штукатурщицы, которая частенько меня подкалывала насчет того, что я «жених».

— Домой ушла. У нее бабка заболела. Вот они с матерью и ушли. Вернется, может...

Раз Нины нет, то можно и выпить, подумалось мне. Праздник ведь.

Мы расположились в актовом зале без дверей и окон. Смастерили столы, организовали рукомойник и бочку для мусора. Пахло вареными яйцами, потом, водкой, луком, лимонадом, сигаретами и костром — на нем мы поджаривали хлеб.

— Выпей, — сказал Костик, сидевший рядом. — Ты же мужик.

Я старательно избегал его и рассчитывал соседствовать за столом с кем-то другим. Но он сам упал рядом и хлопнул меня по плечу, дружелюбно так, почти ласково: «Можно рядышком?»

— Если не привык, то немножко, — вкрадчиво поучал Костик. — Для аппетита чисто. Нужно же когда-то начинать!

Кто-то поддержал:

— Да врежь ты стакан! Чего ты!?

Я помнил, что в начале лета мой организм не перенес банку пива, безапелляционно исторгнув рыжую гадость. Бесцветная водка в пластиковом стаканчике казалась безобидной, что ли. В общем, я согласился.

Я ничего не почувствовал. Голова не закружилась, и ноги не потеплели. В горле чуть пощипало, и все.

— Красава! — похвалил Костик.

Закусив, я не отказался от следующего стакана. И еще одного. И еще.

Вскоре я не мог сфокусироваться на перевернутом ведре без дна. Оно глядело на меня пустотой и подрагивало. Вяло пережевывая хвостик лука, я пытался вникнуть в болтовню мужиков, но слышал только шорох губ. Слов отныне не стало.

Костик, раскрасневшийся, гладкий, смешливый, что-то спросил, а я кивнул в

ответ, не разобрав. Пытаясь подчинить своей воле лицо, я нахмурился и тяжело выдохнул — кисловатое дыхание обожгло ноздри.

Решив пройтись, я сонно поднялся и вышел из столовой. Остывающее солнце уныло утопало за церковью, подсушивая выступивший пот. Мимо, трясая ушами, пробежала сука Бутылка. «Самая кровожадная из оборотней», — почему-то подумал я. От мамы пришло сообщение, но прочесть его я не сумел. Почесывая лоб, я сел на травку и пустил слюну змейкой — попало на кеды.

Размечтавшись о свидании с Ниной, представляя, как это будет, я стал засыпать, но тут у виска что-то щелкнуло — я завалился на спину, треснувшись головой.

— Бить я тебя не буду, — послышался знакомый голос. — Бить нельзя, а то статью пришьют. — Хозяин голоса усмехнулся. — Но подстричь — подстригу. Ты не против?

Костик! Он как бы шутил со мной, а я идиотически улыбался и мямлил что-то невразумительное. Мне казалось, что если мы шутим, то ничего плохого не произойдет. Всякий раз, пытаясь подняться, я вновь заваливался на траву. Даже от малейшего толчка падал. Костик веселился, приговаривая:

— Дурашка-неваляшка. Я в армии таких по жопе ремнем учил.

Ворочаясь, я приминал траву и жалел ее, беззащитную, зеленую, ни в чем не виноватую. Как безысходно она зарывает соленой росой, когда солнце погаснет! Я целовал траву губами, не брезгуя черноземом, породившим ее. Окунал в нее губы и хотел плакать, но не плакал. Мне оставалось доработать одну неделю, и ничего бы не произошло. Я слишком расслабился. Забыл, что окружен оборотнями.

Что-то холодное лизнуло мой лоб и поплыло к макушке. Казалось, мне вычерпывают ложечкой мозг. Застыв в собачьей позе, я боялся пошевелиться, даже зажмуриться не мог. Костик держал меня за пылающее ухо и криво стриг, царапая кожу. Перышки волос сыпались в траву и терялись в ней. В тетрадном листочке мама хранит клочок моих первых, состриженных локонов — светлые, колечком. Как это трогательно: первые состриженные локоны сына.

Я несвязно молился. Просил сил, чтобы наказать обидчика, но тело не слушалось. Оно было беззащитно, а значит, вовсе не существовало.

— Еще спасибо мне скажешь, — пообещал Костик, вывернулся, содрогнулся, не отрезал, а дернул последний клоч над ухом и, наконец, отошел, собирая ртом весь воздух. Так пловцы делают, когда выползают из бассейна.

Остальное я помню плохо. Пришли украинцы, потом пришли наши. Стоя в кругу, они пьяно базарили насчет меня. Я отполз под яблоню и блеванул, не поднимаясь. Потом, по звукам, я догадался, что Юра и Костик дерутся. Зрители давали советы и улюлюкали, как на футбольном матче. Матерились все исключительно по-русски. Хотелось подняться и помочь Юре, но даже развернуться и взглянуть не хватило сил. Пахло чем-то кислым. Я понял, что это аромат моего вывернутого желудка. Содрогаюсь от мерзости к самому себе, я поднялся, протер рукавом рот и обнаружил лишь темень.

— Живой? — громче, чем следовало, спросил Юра, трогая край разорванной рубахи

— Да. Ты победил?

— Разняли. — Юра сел рядом. — По очкам, наверное, я все-таки победил. Ногой сунул в челюсть ему, козлу!

— Это хорошо. Прости меня, Юра.

— За что?

— За то, что я есть.

Стыдясь случившегося, я три дня не появлялся на стройке, а когда собрался, выяснилось, что грянула забастовка — никто не работал. Украинцы уехали, побросав вещи. Многие местные уволились, не став бороться за зарплату. Остальные каждый день приходили на объект и ничего не делали. В основном пили.

С Ниной я общался эсэмэсками — она была подчеркнута холодна. День на третий я бросил эту затею, устав придумывать вопросы, являющиеся предлогом для нашего общения. Видимо, Нину оскорбило то, что я не эпический герой, а слабый русский мальчик.

В конце августа я явился к директору, чтобы уволиться. Он сидел полубоком к столу в неизменном черном пиджаке и курил, смотря на дождь за окном.

— Гев Аликович, я увольняться пришел, — объяснился я.

Черные глаза под густыми с проседью бровями долго меня, коротко стриженного рассматривали, а потом вернулись к дождю.

— Пиши заявление, — неспешно проговорил директор, вытащил ящик стола и пошарил в нем рукой не глядя.

Не знаю почему, но он заплатил мне расчетные. Причем полную сумму. Никому не платил, а мне отдал все. И отвернулся смотреть на дождь.

Занятия начались в ноябре. В универ я явился с коротеньким, но выкрашенным в зеленый ирокезом. Вскоре он превратился в агрессивные дикобразовские шипы. Это было по-настоящему экстравагантно. Прежний мой причесон шокировал только дикарей вроде Костика. А новый едва не довел до инфаркта декана. От ненависти он чуть не задохнулся, а по слухам, даже секретарша Лида не могла довести его до такого состояния.

Что ирокез! Я бы рога не стал спиливать, если бы они начали пробиваться из черепа после произошедшего!

— Мы тебя после первой сессии отчислим, — пообещал декан.

«Ага, конечно! Я учусь платно. Спонсирую вас всех. Кормлю, по сути», — хотел я сказать, но не сказал, конечно. И лишь улыбнулся, чтобы соответствовать образу разгильдяя.

Никто меня не отчислил. Сессию я сдал без троек и вообще, если бы умел выпрашивать, то получил бы красный диплом.

Ирокез определил отношение окружающих ко мне. Он формировал круг моих приятелей. Именно благодаря ирокезу у меня столько, как любят говорить не странные люди, странных приятелей. Мои девушки были выбраны ирокезом. Ирокез требовал останавливаться и показывать ментам паспорт чаще других. Ирокез, часто меняющий свои цвета, обращал на себя внимание сотен глаз в торговых центрах, кинотеатрах и в автобусах. Об ирокезе шушукались мамы коллеги в ее отсутствие.

Теперь я начисто облысел, как отец, дед и прадед. В офисе, в ящике моего стола, всегда хранится пластинка «Каптоприла», потому что я гипертоник, как мать, бабушка и прабабушка. Водка давно уже меня не подводит. Я способен усваивать ее в любых количествах.

В Украине до сих пор война. И где-то там, надеюсь, не воюет мой друг Юра.

Недавно, приехав к маме в поселок, я встретил Нину у супермаркета. Мы оба прикинулись, что незнакомы. Она некрасиво располнела и осунулась, превратившись в тетку наподобие тех, с которыми работала. Яркие ногти, кислотный пуховик, сапоги-ботфорты. Наливное лицо. Вялая сигаретка.

Никого со стройки (Костика тоже), я так и не встретил. Даже мельком из автобуса не увидел. Но однажды в псине, inspectирующей мусорку, я узнал Бутылку. Бессмертное существо с постаревшей мордой.

Она и не знает, что ее так прозвали люди. Какая глупая кличка для кудрявой псины с черным пятном на боку.

Как страшно все-таки, что человек способен выдумать все, если только захочет.

Святые

Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю.

Откровение Иоанна Богослова

Видимо, с самого начала я был обречен, и дело тут, полагаю, не в том, что пенсию мне выдавали на почте. Помню, что в самый первый раз я сунул бумажки в нагрудный карман байковой рубашки, поблагодарил и вышел под весеннее солнце, так приятно согревшее мои глаза. Я от него немного ослеп, поэтому пальцами стал тереть веки и, думаю, что очень забавно, приоткрыл рот. В глазах приятно почернело, а потом резко стало ясно. В шаге от меня стояли двое: Масал и Филька, вернее, стоял только Филька, а Масал сидел на корточках и курил, глядя на меня снизу вверх.

— Здарова! — сказал Филька, замахнулся как для удара, а потом резко изменил траекторию движения руки. Мы поздоровались — послышался звук удара босых ног об воду.

Масал отпружинил, оправил голубые джинсы и тоже меня поприветствовал. Нужно было что-то говорить, но я не знал, что.

— Че, пенсия? — будто радуясь за меня, спросил Филька. Он указал на мой выпуклый нагрудный карман.

Я кивнул.

— А че через почту?

Я напомнил Фильке, что у нас в селе банкомат часто неисправен. Какие-то хулиганы часто его разрывают на части, мечтая, видимо, обогатиться. Филька, понимающе усмехнулся и поинтересовался:

— Получается, ты пенсионер теперь, да?

— Получается так, — ответил я, улыбаясь. Чему улыбался? Идиот.

Все это время Масал безучастно читал что-то с телефона, а когда мы с Филькой шутили, то он приподнимал свои красивые глаза и улыбался, поддерживая нас. На нижней губе у него была черная родинка. Я все время на нее смотрел тогда и потом тоже.

Масал говорил на привычном для нашего села суржике. Например, вот так он спросил у меня про палец:

— Шо, як тыби живеться без пальцев?

— Почему «без пальцев?». Без пальца. Вот. — Я показал свою левую руку, осиротевшую без указательного.

Масал жеманно усмехнулся. Не сдержался. Филька глянул на товарища с укором и поддержал меня:

— Ничего, дядька Сашка вообще без ног живет.

— А пенсию яму платят? — спросил Масал.

— Должны, — ответил я.

Мы помолчали, потом Филька спросил:

— Ну а сколько ты получил?

Я ответил. Филька неодобрительно поджал нижнюю губу, повел головой в сторону и выругал государство. Поругал матом и при этом очень забавно, поэтому Масал хихикнул и провел розовой рукой по желтоватым, будто топленое молоко, волосам.

— Чюишь, ну а шо, давай проставься, да? С получки, — заискивающе предложил Масал.

— Нет, — строго ответил я.

На нищенскую пенсию мне нужно было жить весь месяц, если, конечно, раньше я не найду работу сторожем, дворником или вроде того. У нас в селе без связей никуда не устроишься, а у меня какие связи? Никаких. Я и на курятник-то попал чудом, а

теперь без пальца меня и туда не берут. Говорят: «Ты еще что-то себе отрубишь, а потом выплачивай тебе пособие».

Мой ответ парням не понравился. Особенно Масалу, его глаза сразу погасли, если можно так сказать. Я это сразу заметил. Конечно, он, как всегда в таких случаях, попробовал улыбнуться, но у него не получилось скрыть недовольство. Я тогда сразу заметил, что они оба переживают сильнейшее похмелье.

— Слухай, че ты мнешься? Жлоб шо ли? Пацанам якихся пятисот рублив зажав? Щас бы взяли пивка, сижек и посыдили бы по-пацански. А в потом мы тебя пригостим? Херли ще робыть до вечера, да?

Я молчал.

— Пошли, — сказал Филька и легонько потянул меня за курточку.

— Да не пойду я никуда! У меня еще дела сегодня, не могу я утром пить. Тем более, я вам не благотворительная организация. Все. Давайте, пацаны. — Сказав это, я чуть не расплакался от обиды, ненависти, неловкости и страха. Руки не протянул и побрел прочь, чувствуя их взгляды. Раскаленные спицы взглядов, упертые в мой затылок.

— Ну ты и жопажник! — крикнул Филька. — Я фигею, какой ты жопажник. Масал, дай сигу.

— Ныма, — коротко ответил Масал. Громко, чтобы я слышал. Это они для меня комедию разыгрывали.

— А у тебя есть? — крикнул Филька.

Они нагнали меня и шагали рядом.

— Я же не курю, — ответил я, отворачиваясь от их лиц.

— Купи нам сиг, ну по-пацански, ну фиг ли ты ломаешься, как целка, ну?

Я почти согласился, но форма просьбы была так возмутительна, эти козлы вели себя уж очень по-хамски. Очень! И я вдруг понял одно: если я поведусь на их уговоры, то стану ненавидеть сам себя всю оставшуюся жизнь. В общем, в очень грубой форме я их попросил отвалить.

— Ты с нами так не разговаривай, — пригрозил мне Филька и ухватил меня за рукав.

— Ага, — поддержал Масал. — Не дорос еще до нас, глист мамин.

Я понял, что предстоит неизбежное. Они уже завелись, уже без слов на своем зверином языке сговорились. Я сжал кулак без одного пальца (я левша) и вмазал Фильке в голубой и мягкий глаз. Филькина голова закинулась, но очень скоро он пришел в себя и ответил мне стремительным толчком в шею. Я задохнулся на миг, и этого времени хватило Масалу, чтобы врезать мне в ухо кулаком, пнуть ногой в коленку и повалить наконец-то на землю. Меня лежащего добивал уже Филька, он стучал своими отклеивающимися черными туфлями по затылку и ругался откуда-то сверху. Масал ржал. Я сам чуть не засмеялся в какой-то момент. Потом меня, скрюченного, они развернули, как ежа, Масал топнул ногой по мне и уронил вязкий плевок рядом с моими глазами.

— Да, — протянул Филька, — ты еще та шкура, конечно.

— Ты шерсть! — метко обозвал меня Масал, после чего нагнулся, нашарил деньги в кармане, показал их Фильке и знаешь что? Я могу поклясться, что Филькино желтое лицо с редкой серебряной бородой залилось блаженными тенями, как у святого.

Через месяц, когда я опять пришел на почту, Масала и Фильки не было. Я расписался в ведомости, купил на почте коробок спичек и вышел на улицу. Было зябко, и тучи так плотно завесили солнце, что казалось, стужается вечер, а не заворачивается рассветом новый день.

— Ну что ты, инвалид? Ничего здесь не болит? — Филька показал в область своего паха, обтянутого блестящим, очевидно новым спортивным трико.

Я молча двинулся в сторону магазина «Ольга». Ольга — это любовница главы нашей сельской администрации и по совместительству его зам по вопросам культуры.

У нее есть свой водитель, причем глава из личных денег доплачивает водителю три тысячи, чтобы тот открывал перед Ольгой дверь всякий раз, когда она садится в машину или выходит из нее. Мне это рассказывала мама, а ей, в свою очередь, однажды в церкви по секрету парикмахер этой Ольги Людмила. Я шел и думал о том, чтобы через эту Люду поспрашивать насчет работы, сторожем или водителем. Водить-то я без пальца могу, главное связи. Но где их взять? Кстати, дверь мне открывать перед Ольгой не хотелось совсем. Ни за три, ни за пять тысяч. Хотя, вот за десять, может быть. С меня же не убудет: она свою работу выполняет, а я буду выполнять свою, какая разница, кто чем занят... ну не знаю, в общем. Теперь-то что уже.

— Э, ты шо, оглох? Слух отшибло? — крикнул мне вслед Масал.

Я хотел сказать, что да, отшибло слух. Вы вот и отшибли в прошлый раз. Я два дня тогда лежал и твердое есть не мог, врал матери, что с велосипеда свалился. Хотел ответить так, но промолчал.

Они догнали меня, и между нами состоялся почти такой же, как и в прошлый раз, разговор, только теперь Филька ласково смотрел на меня и чуть позевывал. Он неловко как бы извинялся за произошедшее, оправдывал свое поведение, сводя все к самому тупому оправданию, которое может быть сформулировано только в обществе рабов и унтерменшев. В червевом сердце запущенной толпы, бывшей когда-то давным-давно народом. Филька сказал:

— Короче, ты сам виноват.

Отвратительно. Универсальное оправдание, применяемое к любому несчастью, к любой пропасти, в которую может быть сброшен человек.

— Сам виноват, понял? — повторил Филька еще раз.

— Тот, кто сам — никогда не виноват, — ответил я.

Они не оценили глубину моего философского открытия. Еще какое-то время мы поспорили, а потом они стали меня пинать. Били весело, с таким звуками, какие бывают, когда женщина моется в ванной. Я, наученный тем разом, сразу заорал. Помощи ждать было неоткуда — это понятно. Но моих врагов это немного пугало. Иначе вскоре Масал бы не сказал:

— Чуишь, Филька, хорош, а то опять об его туфли порвэшь, хорош.

«Хорош, хорош», — подумал я и открыл грязные глаза. Обветренная рука Фильки с неровно сломанным ногтем на указательном пальце тянулась к моему карману за пенсией.

Они мне оставили мои спички.

Если бы не мамина зарплата уборщицы, то мы бы умерли от голода в тот месяц. Помню, что однажды мы ужинали одной на двоих сваренной свеклой. Ее красный, поэтому пугающий сок растекся по всей миске, и мы макали в него ржаной сухарик один на двоих, запивая несладким чаем.

В мае, после Дня Победы над фашистами, я опять пошел на почту. Я просил перенести получение пенсии на пару дней, чтобы обмануть моих грабителей, но тетя Оксана сказала:

— Бери, раз пришел, некогда мне тут с вами.

Я свернул купюры трубочкой и сунул их в джинсы, решив, что не дам себя больше бить, буду сражаться, как крыса, чего бы мне это ни стоило. Шел дождь, Филька подплыл ко мне, дружески улыбаясь, и потребовал:

— Давай деньги.

Я грубо послал его, и драка началась. Сначала я даже немного лидировал: Масала я сильно ударил между ног, поэтому он отвалил, а Фильку я молотил по голове со всей ненавистью пострадавшего. Я рассек ему бровь, и казалось, победа близка, но Масал очень скоро откорчился, подкрался как бы сбоку и накинуд мне на шею петлю, сделанную из колючего фанатского шарфа. Так его в армии, видимо, научили. Я расслабился, запаниковал без кислорода. Филька сунул мне в челюсть и лишил меня первого зуба, я завалился на бок и больше уже ничего не чувствовал.

После этого мать пошла к участковому — к моему однокласснику Женьке Свистельникову. Со времен школы Женька разжирел (рассказывала мать), носил теперь короткую стрижку, и весь его крошечный кабинет был уставлен позолоченными иконами. Женька выслушал маму и посоветовал купить электрошокер.

— Да за что же его покупать? — спросила мать. Женька предложил взять кредит.

— У меня на них уже три заявления лежат, — пожаловался Женька. — А что я могу сделать? Они же чернокнижники. У них штрафов тысяч на сто, а толку? Они нигде не работают, имущества у них нет, голозадые ходят по деревне и милостыню просят. Как святые.

Мама, конечно, не рассчитывала на такую позицию местной власти, поэтому, возмущившись, почти закричала:

— Да разве ж им штраф?! Их судить нужно как преступников, а ты штраф!

Свистельников, как и в детстве, опустил взгляд на круглые коленки и оттуда, с тоном оправдывающегося, сказал:

— Чтобы их привлечь, нужны факты, нужно побои снять, свидетелей опросить. Это не так просто. Это целое мероприятие. Заявление, экспертиза и прочие процессуальные моменты, в общем, в следующий раз...

— В следующий раз!? — возмутилась мать, встав из-за стола. — Какой может быть следующий раз!? Они убьют его.

Тут, конечно, мама расплакалась, а Свистельников размяк и пообещал «проработать» Фильку и Масала.

Июнь был промозглым и дождливым. Двенадцатого числа я вышел из отделения почты, натянул на голову капюшон и бегом помчался к магазину «Ольга». Страшно хотелось жрать. Деньги, отдельными купюрами, я рассовал по всем, какие были, карманам. Филька и Масал ждали меня у входа. Масал курил, стряхивая пепел на промокшие кеды, а Филька что-то пережевывал. Очевидно, оба они были пьяны.

— Чего вчера не пришел? — недовольно спросил Филька, когда я приблизился.

— Да выходной же на почте, — ответил я.

Филька коротко глянул на Масала, а потом спросил серьезно, глядя на мои сжатые кулаки:

— Бить или сам отдашь?

Я ощутил несправедливость острее, чем прежде. Раньше, чтобы получить деньги, они были вынуждены меня колотить и рисковать здоровьем, а теперь, выходит, они хотели получить деньги безвозмездно, не пошевелив и пальцем. В то же время не мог я сказать им что-то вроде: «Бейте, ничего в жизни не дается просто так». В общем, я стоял и думал.

— Ты чего ментам настучал? Не по-пацански поступил, не по-пацански, — пристыдил меня Филька.

— Мама пожаловалась, — ответил я.

Масал улыбнулся, его смутило это нежное: «мама», а вот Филька, видимо, понял меня и простил.

Мы начали драться, прямо возле магазина. Бой был коротким, вскоре они свалили меня в лужу и стали монотонно терзать, без всякого удовольствия, так, с прохладцей даже. Филька, кстати, бил меня не сильно, я сначала подумал, что он жалеет меня, но потом услышал шепот:

— Не бей по лицу, не старайся сильно. Менту обещали.

Я все понял и лег на спину, чтобы им было удобнее вытаскивать деньги из промокшего в луже меня. Продавщица магазина «Ольга» выбежала из магазина и закричала:

— Что ж вы делаете? Вы мене всю клумбу истоптали, сволочи! Я сейчас Владимиру Владимировичу (главе) позвоню! А ну пошли отсюда!

Мои грабители лениво удалились, перешептываясь, конечно, забрав все мои деньги, а я полежал еще немного в грязи, а потом стал подниматься. Почему-то в этот

миг мир показался мне хрустальным, и осторожно, чтобы не повредить его, я перевернулся на другой бок, перенес центр тяжести на руки и потихоньку привстал. Чтобы вернуть себя к жизни, прежде чем окончательно распрямиться, я глотнул из лужи. Вода была соленой, и сладкие песчинки хрустели на зубах.

С этого времени о том, что меня грабят, знали все в селе. Но никто, ни один человек не попытался мне помочь. Ежемесячное избиение односельчанина стало для всех чем-то вроде засухи, лишь мешающей как следует расти огурцам.

Потом случилось нечто удивительное: в следующем месяце я от них улизнул. Обхитрил чудом. На радостях я купил продуктов сразу на всю пенсию и много-много зефира. Два пакета еды домой притащил. Когда мама ела колбасу с хлебом, она вдруг отвернулась к окну, и я, конечно, понял, что она плачет.

В июле я рассчитывал, что опять смогу от них удрать, но Филька и Масал встретили меня у дома и проводили до самой почты, потом мы опять дрались, и они опять отобрали пенсию. Было кое-что новенькое. Масал сказал:

— Ты нам ще за той раз теперь довжен, поняв?

Я показал фак беспалой некрасивой своей рукой.

Бежал тяжелый ледяной дождь с ветром, а эти двое медленно шли по жирной, промокнутой земле, утопали в блестящем черноземе и казались самыми светлыми фигурами на фоне серых штормовых облаков. Ну, святые, в общем.

Все это продолжалось до зимы. Два раза я смог их обмануть и присвоить себе свое же. Они были очень недовольны и обещали «взять» с матери. Я почти лишился зубов, мое лицо больше не спухало, ну и похудел я, естественно, сильно. Подвизывал джинсы веревочкой, чтобы они не спадали, а еще теперь за пенсией я ходил только в очень старой и рваной одежде, чтобы не жалко было, а то грязь, кровь и все такое.

Снег пошел в декабре, прорвался, он сыпал и сыпал, днем и ночью, я чистил двор, иногда по два раза в день, старался чрезмерно, однако снега было столько, что казалось, он похоронит всех нас в своей пушистой и мокрой радости. Однако в середине декабря снегопад прекратился, солнце, удивительное, яркое, выбелило село, и ударили морозы. Вот в этот день умерла мама. Не от голода, конечно, но и от него тоже. Я ее еле похоронил. Пришлось занимать у многих. Могила сам копал, хорошо, что земля не успела как следует промерзнуть. Все было как положено: поп, поминки. Все как у людей, в общем.

Новый год я встречал в одиночестве, весь день смотрел телевизор и чай пил, а после поздравления президента лег спать. Вот в ту ночь я и решил уже все. Не могу сказать, что обдумывал долго и терзался. Скорее, я просто дал себе команду, как послушному псу.

Январскую пенсию я забрал в середине января. Был солнечный морозный день. Я такую погоду не люблю, глупо как-то: неприятный мороз и веселое желтое солнце. Они меня ждали за «Ольгой», подманивали и смеялись. Пар изо рта у них шел густой такой. Как молоко из-под коровы.

— Я предлагаю сразу подраться, — сказал Филька, — а то холодно, согреемся хоть.

Мы с Филькой в детстве даже немного дружили, странно, конечно, это все.

— Ну шо? Погнали? — спросил Масал и стал подходить ко мне, расставляя худые ноги.

Все мы так привыкли к этому мероприятию, что чувствовали некоторую неловкость друг перед другом за то, что исполняем свои обязанности немного формально. Филька зачем-то закурил. Сделал пару тяжких и выбросил сигарету в сугроб. Ударил меня.

Я был в старой отцовской морской шинели, там полы такие широкие. Вот как раз в них, под сердцем я прятал топор. Да, как Раскольников. Я высвободил моего дружка и даровал ему волю.

Помню, Масал запричитал, как старуха:

— Шо ты робишь? Шо робишь? Брось!

Я и бросил, когда закончил с Филькой. Прицелился и метнул топор в спину убегающего Масала. Топор попал обухом, но Масал все равно споткнулся и завалился, как неуклюжий мешок. Я подбежал и покарал его. Конечно, у меня сдали нервы, и поэтому я орудовал топором еще несколько минут зря. Беспольный труд.

Удивительно, кстати, мягок человек.

Меня арестовали, конечно. Женька Свистельников приехал на своей «приоре» к моему дому ночью и принялся орать:

— Сдавайся!

А я у соседа был, ключи ему отдавал, чтобы он за домом присматривал: протапливал там, воров шугал. Я ведь выйду когда-то.

Помню, мент, который снимал отпечатки пальцев, спрашивал:

— А где еще один палец?

— Отрубил, — говорю, — случайно. И их тоже случайно. Несчастный случай. Сами, — говорю, — виноваты.

В общем, сию я уже пятый год. Юбилей получается. Когда выйду, то хочу к тебе первым делом съездить, не зря же мы год переписываемся, да? Вон каким я откровенным с тобой сделался. Всю правду, как есть, рассказал и ничего не утаил. Ты только не бойся. Я очень хороший человек, просто не мог я иначе. Нужно было разрубить петлю на шее, понимаешь? Там, с той пенсией январской, и материна последняя пришла. Не мог я им ее отдать, они и так пожирнели за мой счет. Хватит.

В селе все думают, что я свихнулся. Никто меня не жалеет. Однако теперь они будут знать, что все происходящее со мной — не было нормой. Все происходящее со мной — происходило со всеми сразу. Теперь все будут знать, что так нельзя. Поразительно, конечно, но приходится вот так доказывать всем известное. Конечно, я не образчик морали. Я только частный случай, окончившийся трагедией. Но как иначе ему окончиться, если с трагедии все началось?

Филька (на самом деле его звали Антон, а фамилия просто Филимонов) участвовал во второй чеченской войне, поэтому нашу сельскую школу называли в его честь. Бюст слепили и наклеили у крыльца. Масала все в селе знали, многие говорили так: «Хороший был парень, жалко... пожил бы еще».

В общем, все записали этих двоих в мученики, а меня в маньяки. Пугают мною теперь детей.

Надеюсь, ты видишь, что никакой я не маньяк, а они никакие не мученики. Надеюсь, видишь.

Все равно правды нет. Я вот одному здесь рассказал свою историю, и знаешь, что он мне на все это ответил?

— Они, — говорит, — святые по сравнению с тобой.

Как специально, гад!

У меня здесь времени много, я размышляю целыми днями о всяком, на прогулках тоже не перестаю. Снег сыпет и сыпет. Большая в этом году зима. Мы снег этот убираем: дорожки на шаг рассчитаем, а сугробы делаем по краям. Вымокнешь за день, распаришься, а потом придешь в барак, заползешь на нары, ноги подожмешь и сидишь. Как в детстве. Я в такие часы в голове сочиняю тебе письма, а по выходным сажусь писать.

Знаешь, может я совсем спятил, но мне кажется порой, что мой обрубленный палец немного подрос. Может быть такое, а?

Вечная пятница

Тушу окурочок о серую стену подъезда, на которой нарисован изогнутый крест, — это не моих рук дело. Какое-то время стою и любуюсь крестом, а после поднимаюсь в квартиру моряка. Дверь открыта. В квартире бардак.

Пью у моряка с понедельника. Говорю ему всякое, а он не слушает. Называет меня «друг». А я никому не друг. Я один. И отец мой сирота, не познавший ласки.

— Ты принес?

Я отвечаю утвердительно. Протягиваю моряку шершавый пакет с водкой, килькой и хлебом. Он кивает одобрительно.

Килька у меня отлично получилась — я радуюсь этому про себя, а моряк говорит с кривой рожой, что очень меня ждал. Спрашивает о моих волосах. Я отвечаю, что их ветер распутал. Он запускает пухлые желтые пальцы в свои курчавые рыжие волосы и улыбается беззубым ртом.

В комнате моряка пахнет сигаретами и потом — эти ароматы смешивал я. Я пропитываюсь этим запахом, пока мы пьем.

Моряк говорит «бля», когда выпивает. Я предложил ему так говорить. Это слово ловкое, оно напоминает выстрел из дамского пистолета.

Смотрю на город через грязное окно — начинается снег.

Моряк обиженно разглядывает мое лицо и засыпает, сидя на стуле. У него задрался край майки — виден белый жирный живот с серыми волосами. Водки больше нет.

Пора идти. Знаю, что не вернусь. А у моряка через три дня лопнет аппендицит и он умрет от перитонита. Моряк не заметит приближения смерти в пьяном бреду. Умрет во сне, ощущая жар под сердцем.

Я глажу голову спящего на прощание забинтованной рукой и ухожу, набросив дубовую морскую шинель, — она пахнет рыбой.

На улице отлично сотворенная зима. Мне нравится снег — в моей истории он титры. Хочется курить, и я прошу сигарету у прохожего. Мне жертвуют. Я боюсь огня, поэтому прикуриваю зажмурившись.

На улицелюдно, как впрочем везде. Иду мимо магазинов и аптек, казнию и милую наугад встречных. Меня никто не узнает.

Захожу в сырой подвал пивной и прошу стакан светлого пива. Выпиваю залпом и прошу еще. Выпиваю опять. Торговец на меня не смотрит — он занят подсчетом денег. Прошу бутылку водки и понимаю ясно, что пора расплачиваться.

Выхожу из погребка и сталкиваюсь с подростками. Их двое. Один из них бьет меня по ребрам, и я чувствую знакомую боль. Сгибаюсь и точно падаю к ногам ударившего. Вдвоем они топчут меня ботинками, плюются и кричат. Смеются детскими голосами, превращая в фарш мое лицо. Я накрываю глаза ладонями и плачу. Мои слезы разъедают снег. Прошу о пощаде кровавым ртом, а они шарят по моим карманам. Находят тридцать рублей и водку.

Один из них закуривает дрожащими руками, а потом стирает с кулаков кровь о снег.

— Густая, — сообщает он.

Я киваю.

Присмотревшись ко мне внимательнее, он, видимо, узнает меня. Начинает мелко дрожать и безмолвно тычет в меня пальцем. Второй за нами следит бестолково, спрашивает вкрадчиво:

— Ты чего?

Молчание. Узнавший меня опускается на колени, кладет руки на голову и всхлипывает, потом потихоньку ложится на бок, опускает лицо в сугроб и, вздрагивая, шепчет неразборчивые слова.

Второй, не узнав меня, топчется на месте и трет руки о куртку. Наконец он сплевывает в снег и спрашивает:

— Кто ты?

Я отвечаю:

— Бог.